

Нина Воронель

•

Ведьма и парашютист

Звонок из ниоткуда



Харьков
«ФОЛИО»
2019

Ури

Серебристый «ситроен» матери вырулил из-за поворота в тот самый момент, когда Ури решил, что больше он ждать не будет. Он, собственно, и не сомневался, что она опоздает, — опоздание было так же живительно для ее души, как утреннее священнодействие перед зеркалом для ее лица. Она отчаянно махала ему из окна, явно предчувствуя его решение и опасаясь, что он развернется и растворится в многокрасочной иерусалимской толпе прямо у нее перед носом. Он почти так и сделал, крутнулся было уже на каблуках, чтобы уйти и наказать ее, как следует, но передумал и шагнул с тротуара к машине. Однако едва он успел отворить дверцу, как завывла сирена и жизнь вокруг остановилась.

Все те, что за секунду до сирены шагали, бежали, протискивались навстречу потоку других шагающих и бегущих, все те, кого несло и крутило в многоглазом уличном водовороте, вдруг замерли разом, и водоворота не стало. Машины застыли там, где их застигла сирена, и только их пассажиры и водители на миг нарушили эту зачарованную неподвижность — они единым слаженным толчком отворили дверцы и, изогнувшись одновременно, встали каждый рядом со своей машиной. Придерживая щепоткой пальцев полуоткрытые дверцы, они стояли, низко склонив головы, — то ли молились, то ли разглядывали носки своих ботинок.

День поминовения погибших. Эзры, Итая и его, Ури, ибо маленькая случайность, благодаря которой он остался в живых, казалась нелепым недоразумением на фоне того, что с ними тогда произошло.

Как только сирена смолкла, Ури в два прыжка оказался рядом с матерью и, отмахиваясь от ее извинений, сказал резко:

— Садись справа, я сам поведу.

Она было залепетала что-то насчет нервного срыва и врачебных запретов, но он уже затягивал ремень шоферского сиденья:

— Ты, надеюсь, не хочешь, чтобы я опоздал на самолет?

Мать глянула в его яростные глаза и не стала ему возражать, она молча села рядом с ним, молча затянула свой ремень и ни разу за всю дорогу в аэропорт не указала ему на зашкаленный спидометр. Так ему и запомнился этот предотлетный час — его новая, еще не опробованная временем власть над матерью, ее закушенные губы и тишина, как перед смертью.

День поминовения погибших.

На прощанье он все же сжалился над матерью и подставил ей щеку для поцелуя на пороге зачарованной зоны для избранных, в кондиционированную благодать которой пускали только пассажиров. Она потерлась о его щеку нежными, все еще молодыми губами (о, неувядающая Клара, черт бы ее побрал!), и сквозь терпкий аромат духов на него пахнуло знакомым молочным запахом ее кожи, который он так обожал в детстве и от которого сходил с ума в ранней юности.

— Ты будешь мне звонить иногда? — спросила она робко. Робость эта все еще была ему внове, и он пока не знал, как на нее реагировать. И потому ответил более резко, чем он сам от себя ожидал.

— Чтобы прервать твою приятную беседу с очередным поклонником?

Мать часто-часто заморгала, словно собиралась заплакать, но сдержалась и вместо слез выдавила из себя кривое подобие улыбки, обращающее его хамство в шутку.

— Мне казалось, ты всегда неплохо ладил с моими поклонниками.

Что было делать, если она сама подставляла вторую щеку? Только бить с размаху.

— А что еще оставалось единственному сыну молодой красивой вдовы?

Тут уж ей наверняка следовало поставить его на место — одним властным взмахом ресниц, как она это умела. Но она выдавила из себя еще одну игривую улыбочку, она даже игриво крутнула задом и погрозила ему пальчиком, как маленькому — ну-ну-ну, злопамятный мальчишка! И тут ему стало страшно: неужто он и впрямь так серьезно болен, что все ему дозволено? Или это просто награда за то, что он остался жив? Мысль эта отравила Ури всю радость восхождения по трапу самолета. И только когда бело-зеленые пригороды и лазурно-желтые пляжи Тель-Авива закружились, стремительно уменьшаясь за овальной линзой иллюминатора, напряжение отпустило его. Он был жив и летел в Европу!

Он уже бывал там — мальчишкой, лет десять назад: мать возила его во время школьных каникул приобщать, как она это называла, к великой европейской культуре. Вряд ли он сильно тогда приобщился: монотонные ряды картин вдоль музейных стен утомляли и подавляли его, а главное, ему было не до того, он должен был следить за матерью. В то европейское лето он любил ее безнадежной юношеской любовью и ревновал ко всем встречным. Все бесчисленные любовные сцены, изображенные на бесчисленных музейных полотнах, наводили его на мысль о ее тайных похождениях и изменах. И чем больше она восхищалась этими картинами, тем больше он их ненавидел, а вместе с ними художников, живопись и музеи, ненавидел так страстно, что постарался начисто вытравить их из своей памяти.

И вот теперь он собирался увидеть все это снова, свободный от любви к ней и от всякой любви вообще, поскольку любовь к мертвым не в счет. Он сидел зажатый со всех сторон неуютной клеткой самолетного кресла и злорадно представлял себе, как долгими жаркими вечерами она будет маяться у телефона в ожидании его звонка, а он захочет — позвонит, а не захочет — не позвонит.

* * *

Он позвонил ей только накануне возвращения домой, из привокзального автомата в Страсбурге, чтобы напомнить, что завтра в полпервого она может встретить его в аэропорту, если захочет. Услышав его голос, мать часто дышала в трубку, будто намеревалась зарыдать, но удержалась и только спросила, как он себя чувствует. Он говорил с нею по-немецки, частично по детской привычке, частично потому, что хорошо напрактиковался за это европейское лето. Ловко раскатывая языком гортанные звуки, от которых во рту оставался кисло-сладкий аромат яблочных оладьев, неизменно сопровождавших их субботние немецкие беседы с матерью, он соврал, что чувствует себя хорошо и скучает по дому. На чужом, хоть и знакомом с рождения наречии врать было легче, тем более что и выхода другого не было: время действия билета кончалось завтра утром, а денег оставалось четыре марки семьдесят пфеннигов — на кофе и на метро.

Закончив разговор, он прошел в темноте под дождем на перрон, где обнаружил, что поезд на Мюнхен уже подан и двери открыты. Он вошел в вагон, устроился поудобнее в углу и задремал — ехать предстояло всю ночь. Не просыпаясь, он почувствовал, как поезд тронулся и мягко закачался на пружинистых рессорах.

Разбудило его внезапное чувство невесомости — поезд стоял у смутно освещенного перрона. Названия станции он прочесть не смог, оно пряталось в темноте за сеткой дождя. Взгляд его, утомившись всматриваться в неразборчивую готическую вязь на далеком желтом фоне, скользнул было назад в глубь глаз, но застрял на полпути, наткнувшись на картину, столь неправдоподобную, что поначалу Ури принял ее за отражение не замеченной им рекламы на противоположенной стене. Десятки, если не сотни мертвенно-бледных морд скалились на него из темноты, зияя черными провалами ощеренных ртов и пустых глазниц. Ури поспешно проверил стену напротив окна — никакой подходящей рекламы там не было — и опять повернулся к перрону. Морды по-прежнему

му безмолвно скалились из пустоты — ни тел, ни ног под ними различить было нельзя.

Какую-то долю секунды они еще продолжали неподвижно висеть за стеклом, а потом все разом задвигались и зашумели. При движении у них сразу обнаружились и ноги, и тела, сплошь затянутые в черную кожу, густо усеянную крупными металлическими бляшками — то ли кнопками, то ли шляпками гвоздей. При каждой морде, соответственно, обнаружилась голова, порой обритая наголо, порой увенчанная замысловатым хитросплетением пестро окрашенных волос. Обретя способность двигаться, все головы разом издали единый пронзительный воинский клич, в ответ на который станционное радио гортанно объявило, что поезд задерживается по техническим причинам. Не прерывая свой леденящий душу вой, головы дружно, словно по команде, повернулись налево, вперед по ходу поезда, представляя себя для обозрения в профиль. Приспособившийся к полутьме перрона глаз Ури начал различать детали: в черной пещере рта каждой головы напряженно вибрировал вздыбленный для крика кончик языка. Слева, от начала поезда, будто притянутые магнитным полем направленных на них взглядов, появились два полицейских, вооруженных резиновыми дубинками. Свободной рукой каждый тащил за цепочку наручника упирающегося верзилу, затянутого в черную кожу. Следом за ними третий полицейский вел на поводке огромную немецкую овчарку.

Откуда-то сверху, с небес, гулкий голос, перекрывая вой, рявкнул короткую отрывистую команду, и вдруг все вопящие рты захлопнулись покорно и разом. В наступившей оглушительной тишине маленькая сплоченная группа стала подниматься под охраной собаки вверх по железной лестнице, ведущей в никуда. Все головы — и глянцево-голые, и пестро-мохнатые — слаженно изгибаясь на тонких юношеских шеях, качнулись ей вслед, словно колосья на ветру, и рты начали приоткрываться, напрягая языки для очередного воинского клича. Отрывистая односложная команда снова грянула из темноты поверх голов, и рты захлопнулись, так и не открывшись.

Полицейские, арестанты и собака все еще медленно шли вверх по лестнице, а навстречу им, пружинисто перепрыгивая через три ступеньки, сбегал матерый Волк, слегка подгримированный под человека. Его поджарое волчье тело было втиснуто в черный кожаный комбинезон, на задние лапы натянуты были черные хромовые сапоги, на передние — черные лайковые перчатки, чтобы спрятать когти. Но ни серебристая стрижка поверх острых ушей, ни серая щеточка усов, маскирующая отсутствие верхней губы, не могли скрыть его волчью природу: длинные хищные клыки выдавали его с головой. В секунду очутившись на перроне, Волк четким воинским шагом промаршировал вдоль поезда и снова рявкнул какую-то односложную команду, в ответ на которую черное кожаное стадо, поблескивая стальными бляшками, безмолвно двинулось к вагонным дверям.

Они вливались в вагон через обе двери и быстро рассаживались по деревянным скамьям. Волк вошел последним, автоматические двери закрылись за ним, и поезд отплыл от перрона в разлитое море дождя. Только тут Ури, зачарованный развернувшейся перед ним драмой, обратил внимание на то, как опустел его вагон. Сбежали практически все, кроме пожилой французской пары в дальнем углу и рыжей американской толстухи, сидящей напротив Ури по другую сторону прохода.

При более внимательном обзоре толстуха оказалась совсем юной. Туго натянутая на ее круглых щеках кожа сияла в полутьме вагона, словно в недрах этих розовых полусфер теплились наивные лампадки любви к ближнему и веры во взаимность. Не столько неразличимыми за толстыми стеклами очков глазами, сколько жадно открытым пухлым ртом она следила, как компактная черная масса волчьей стаи растекалась по вагону, дробясь на мелкие островки, отделенные друг от друга желтыми спинками скамеек. Волчата тоже были юные, почти дети, у многих на шеях и подбородках пупырились малиновые отроческие бугорки с белыми гнойными головками. Волк вошел последним, остановился в дверях и молча ждал, пока они растасуют в

узких межскамеечных проходах хитросплетение тонких ног с несоразмерно крупными ступнями. Под его взглядом все быстро притихли, и он заговорил — негромко, не повышая голоса:

— Ну что, довольны, герои? О Ремингере и Штранде можно забыть, играть они больше не будут — а значит, кубка нам не видать. Но сегодня есть еще надежда выйти в полуфинал, если всех вас тоже не уведут в полицию.

Слева от Ури кто-то прошелестел одной кожаной ногой о другую, будто хихикнул, и серая волчья морда вдруг ощерилась всем арсеналом своих клыков.

— Все пиво сдать мне! — рявкнул Волк.

В полной тишине десятки пивных банок покатались через головы из рук в руки и беззвучно выстроились на полу перед Волком. Он пнул первую подвернувшуюся банку затынутой в хромовый сапог задней лапой:

— Все в мусор! Немедленно!

Никто не шелохнулся, только слева одна кожаная нога опять прошелестела по другой. Не поворачивая головы, Волк тихо сказал:

— Подними-ка свой зад и вали сюда, Лотар.

Когда Лотар неохотно оторвал свой тощий зад от скамьи, его бритая до блеска голова со странными продольными вмятинами за ушами почти коснулась вагонного потолка. Волк смотрел на него снизу вверх, но это не снижало гипнотической силы его взгляда.

— Собери все банки и выбрось!

Лотар обвел батарею банок тоскливыми мутными глазами и спросил недоверчиво:

— Все?

— Все! И ты, что ты спрятал у себя в сумке тоже.

— А чего я прятал? Ничего я не прятал... — не очень уверенно забубнил Лотар.

— Открой его сумку, Милке! — приказал Волк.

Милке выскочил в проход с правого фланга, лицо его было неразличимо бледным на фоне малинового зубчатого гребня, бегущего по центру его бритого черепа от лба до затыл-

Содержание

ВЕДЬМА И ПАРАШЮТИСТ 3

ЗВОНОК ИЗ НИОТКУДА 235